

Валерия Пустовая

Не искази

Александр СНЕГИРЁВ. По линии матери. — Предисловие Елены Погорелой. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025. — 352 с.

Чего не ожидала я от писателя Александра Снегирёва — так это того, что новое его повествование открываться будет словами: «Род Никитиных происходит из владимирских земель».

Что ж в этих словах такого? — спросят меня. А в том и дело, что ничего — от стиля самого писателя.

Александр Снегирёв — автор, ярко запоминающийся и узнаваемый.

Можно запомнить его как меткого охотника за деталями современности — причем деталями не расхожими, интимными, скрывающимися подчас за фасадами частных домов и обеспеченной жизни.

Можно рекомендовать его как тонкого летописца любви — и безусловного мастера эротической прозы. Жанра, который в текущей литературе отступил на поля вместе с самым любовным увлечением: в романах нового поколения не так часто встречается любовное взаимодействие, диалог двоих в страсти, а у Снегирёва это одна из главных сюжетных пружин.

А можно отринуть эту любознательную корысть, отключить в себе соглядатая и современности, и современных нравов в любви — и наслаждаться только стилем Снегирёва, самым выбором и соседством слов, их игривой и одновременно ранящей силой. Чуткость к слову, чуткость к колебаниям страсти, чуткость к демонстративному обаянию и тайной уязвимости людей — это облако восприимчивости создаёт неповторимый образ Снегирёва в прозе.

Но эта первая фраза повествования в новой книге: «Род Никитиных происходит из владимирских земель» — разве писательский стиль? Это анонимное письмо самой истории, в которой люди веками выживают, собираясь в роды и племена, и всякий род откуда-нибудь да происходит.

Слова кажутся чуждыми, чужими — не присвоенными писателем. Да и семья, как выяснится, не своя.

Восстановление корней — и модный тренд, и огромная общественная работа, которой не видно края. Многие люди сегодня обращаются к архивам и воспоминаниям и не только восполняют родословные, но и составляют повествование — на разном уровне и профессионализма, и художественности.

Зачем это нужно собирателю семейной памяти — вроде бы ясно. Восстановить историческую справедливость. Докопаться до тайны. Осознать свою принадлежность времени и месту, взрастившим не только самого собирателя — но и весь его род. Почувствовать неслучайность своего места в жизни: с точки зрения собирателя, все удачи и несчастья семьи неизбежно оказываются нацелены на то, чтобы породить его на свет. А за неслучайностью жизни прозреть и какую-никакую её осмысленность.

Александр Снегирёв добавляет ещё один довод — экзистенциальный звонок. В прологе он набрасывает словно бы начало рассказа — остренькое в деталях, демонстративно интимное в ракурсе: «На экране лицо транслируется снизу: в эпоху видеосвязи такой, отчасти интимный, ракурс стал привычным».

И пронзительное по мысли: «Собрал настоящий архив: документы, рукописные строчки, фотографии, цифры, списки, десятки заархивированных судеб. Зачем они тебе, Митя? Зачем тебе все эти мертвецы?»

Именно Митя — современный мужчина, ведущий «респектабельную жизнь»: потенциально типичный герой прозы Александра Снегирёва — выступает заказчиком, инициатором создания книги. Хочется думать в образах эпохи Возрождения: респектабельный негодник обращается к известному художнику за семейным портретом.

Вот только художник пишет что-то другое — точно не портрет, не художественное полотно, которое силой искусства приторочивало бы частную жизнь к вечности.

Да и респектабельность — и это тоже типично для прозы Снегирёва — оборачивается уязвимостью: «Мите страшно. Он много думал о своём страхе, работал со своим страхом. Нужна компания, нужна поддержка, что-то большее, чем дружеское плечо, вера в себя и вот это вот всё. Нужно дыхание родных покойников, не ледяное, могильное, а ободряющее. Покойники не соревнуются, не самоутверждаются. Если будешь падать, не дадут упасть, а если суждено упасть, подхватят, примут в свой сонм и никогда не оставят».

Вот так: портрет Мити в книге получился превосходно — а портрет семьи намеренно написан не был.

Митя, кстати, тут же, в прологе, на фото — с прадедом, чьи воспоминания будут приведены в третьей части книги. Томик «По линии матери», как образцовая хроника семьи, снабжен фотографиями — детскими, брачными, парадными, бытовыми — и вклейкой генеалогического древа. И составлен из трёх разнородных частей, в которых писатель Снегирёв на наших глазах самоустранился.

В прологе и первой части его голос ещё хорошо слышен: здесь он излагает историю Никитиных, Подставиных, Вавресюков, Тереховых. Рождение, крестины, бракосочетания. Арест, эмиграция, гибель. Похвальные грамоты, карьера, дети. Разорение, вдовство, адюльтер.

Называет текст «нашим исследованием» и действительно исследует. Когда он пишет: «Строчки про двойной обвив пуповиной кем-то позже зачернены и видны только при внимательном изучении скана», — я живо представляю себе не столько зачерненные строчки, сколько глаза и руки писателя, крутящего скан, чтобы лучше всмотреться.

В первой части Снегирёв позволяет себе проявляться, присутствовать — соседствовать с героями в восприятии читателя.

Позволяет себе трактовать: «Слова Галины Борисовны о предназначении содержат какую-то задумчивость, возможно, печаль».

Делать умозаключения и даже слать возвышенные месседжи: «Напрашивается не абы какой вывод — мол, вот была прелестная девочка с белой лентой в волосах и с белой чашечкой в руках на детском празднике, наследница положения и состояния, а потом всё пошло наперекосяк: адюльтер отца, война, революции, реквизиции, голод, девятилетка; жена врага народа, учетчица, комплектовщица, столовщица, продавщица лотерейных билетов. Предугадать развитие судьбы нам не дано, но сохранить этот самый огонь в глазах мы можем попытаться. Ирине Михайловне это удалось — и, как знать, возможно, и мы, всматриваясь в зыбкие следы её жизненного пути, однажды постигнем её секрет».

Иронизировать — скрыто, упрятав усмешку в чинное по виду повествовательное предложение; и над некоторыми такими подмигиваниями читателю я хохотала в голос.

А главное, позволяет себе найти героя. Несмотря на принятую роль исследователя и хроникёра, распознающего людей по фактам, а не по свойствам личности, Снегирёв в первой части книги не пишет так уж ровно. Временами видно, как он прямо-таки оживляется.

Что-то щелкает, задевает, срабатывает.

И вот в хронике появляется отсылка к сундуку Билли Бонса: «Билли Бонс хоть и был кровожадным пиратом и горьким пьяницей, но наследство оставил образцовое: оружие, наличные, ценные бумаги и романтическая деталь в виде морских раковин. Владимир Иванович Серков, петербургский архитектор и действительный статский советник, тоже одарил наследников вполне упорядоченными делами».

Комментарии к письмам влюбленного невропатолога, рвущегося из брачных уз, дают повод к диалогу писателя с персонажем. Тон Снегирёва заметно теряет объективность: «Оправившись от тягот революции и Гражданской войны, в 1922 году Михаил Павлович берётся за старое: “Всё моё существо охвачено мыслями о нашем будущем. Мне не нужно было сообщать Л.В., что я с тобой виделся”»; «Лирические образы у Михаила Павловича изменились под стать эпохе, сделались более пролетарскими: в 1914 году он хотел, чтобы нити сплелись, спустя десять лет — чтобы жизни спаялись». А комментарий: «Михаилу Павловичу явно доставляют удовольствие любовные интрижки напоказ» — выглядел бы даже бестактным, если бы не чувствовалось, что написан он с доброжелательным и притом профессиональным писательским интересом.

Тот же интерес: вглядывание в потенциально яркого, обещающего готовый сюжет персонажа — чувствуется в одобрительном комментарии к фото другой героини, которая «осознаёт свою привлекательность, знает свои выгодные ракурсы, ведет активный образ жизни», а на групповом фото с классом вырезала у себя половину лица: «Очень может быть, прооперированный портрет иллюстрирует судьбу Галины Борисовны, и никакие многочисленные её последующие изображения не могут поспорить с ним в выразительности. Здесь и внимание к себе, и неприятие себя. Желание совершенствоваться даже путём резких вмешательств. Через прорезанное отверстие видны и Татры, и Карпаты, и Хибины, и Кавказ, видны байдарки с палатками, санатории с турбазами, мужчины и дети, цветы и платья, принятие себя и отторжение, мантра “папочка обязательно вернётся” и посмертное расследование его судьбы, вечный поиск отца — и вечный покой».

Написано прямо-таки красиво: изяшно, остро, эссеистично. В нескольких словах схвачена вся судьба — и создан образ. Не персонаж хроники, не коллаж из фактов — а именно образ: лично понятый, картинно отраженный в яркой детали.

Но в том и дело, что такие пассажи появляются в книге на правах исключений из правила. А правилу Александр Снегирёв следует. Придерживается фактов. Нарочно не идет в сторону образности. Излагает последовательно.

А потом и, как говорилось выше, самоустраняется.

Вторая часть книги — расшифрованная и разбитая на микрорассказы прямая речь Ксении Константиновны Рунич. След Снегирёва здесь виден прежде всего в композиции и в том, например, как трогательно и одновременно ловко завершает он исповедь о большой жизни, в которой были и трудное, голодное детство в эвакуации, и гибель родных в блокадном Ленинграде, и неудачный по юности брак, — рассказом «Редкие цветы». Пережив многое с Ксенией Константиновной, мы так и видим её: с образом маленьких цветов вишнёвого цвета на поле ржи или пшеницы — она запомнила их по играм в детстве, но «не увидела после войны нигде».

Наконец, третья часть занимает почти половину книги и представляет собой воспоминания Фёдора Ивановича Терехова, родившегося в начале прошлого века, прошедшего и Гражданскую, и Великую Отечественную войну, инженера, поставленного управлять заводом, но не выигравшего в борьбе с коррупцией. Тут Александр Снегирёв отступает совсем уж подчеркнуто. Это уже не переработка прямой речи в текст. Это непосредственно текст — чужой, не профессиональный, но содержащий в себе что-то такое, что писателю Снегирёву важно показать лицом.

«Кажется, Снегирёва он покоряет минимумом рефлексии при максимуме информации, которую из его кратких и суховатых записок удастся извлечь», — пишет в наблюдательном и точном в выводах предисловии критик Елена Погорелая.

Извлечь из воспоминаний Фёдора Ивановича Терехова можно в самом деле многое. Прежде всего это личная история войны, покоряющая воображение именно тем, как соединяются в ней известные по литературе и кино сюжеты риска и выживания, доблести и предательства — с достоверностью конкретного, именного свидетельства.

Фёдор Иванович Терехов излагает просто, но ладно, не желает поразить — но не скрывает чувств. Постоянный спутник его на войне — угроза очередного сердечного приступа. Накануне сороковых годов его по состоянию здоровья оставили в резерве, но «началась война, и я был призван как строевой офицер-артиллерист и три года провоевал на командных должностях как строевой офицер».

Неполадки с сердцем становятся символом скрытого нечеловеческого напряжения всех чувств и сил в обстановке, о которой, даже предугадывая наперед, что будет написано, читать тяжело. Замерзшие дети, побежавшие вслед за угнанными в плен родителями, дикий рев тонущих лошадей, осколок в сантиметре от глаза, прощальный взгляд дочери, второй раз провожающей отца на фронт: «Очень тяжёлым расставанием было прощание с дочерью. Ей тогда было восемь лет, её выражение глаз очень долго преследовало меня».

И в целом вся книга «По линии матери» — это мучительное, но бесценное извлечение памяти. Такие книги нужны читателю. И в отношении читателя как раз не возникает вопроса, зачем ему погружаться в хронику чужой семьи, зачем читать воспоминания не своего прадеда.

Затем, что набившие оскомину повествования в жанре семейной саги на фоне века, как и невыдуманные семейные хроники, ведут всенародную психологическую реабилитацию. Помогают говорить о том, что нас всех вместе ужасает — и на что мы можем опереться благодаря только тому факту, что родились в одной стране. Помогают почувствовать неслучайность нашего появления — а значит, осмысленность

и ответственность нашей жизни в пресловутом «здесь и сейчас», в котором можно не думать о прошлом, но которого без прошлого не бывает.

Благодаря книге «По линии матери» мы проходим предсказуемым путем — «крутым маршрутом», с которого не свильнуть. Горюем над безвременной смертью, сокрушаемся о несправедном обвинении, печально улыбаемся миновавшему, но как будто вечно что-то обещающему нам с чужих фотографий детству. Замираем в точках рокового жизненного выбора — который, мы знаем, уже точно не переиграть.

Незнакомый нам, но породнившийся с нами через эту книгу Митя — демиург памяти. Тот, кто побудил этот космос судеб собраться под одной обложкой.

Читатель — выгодоприобретатель. Поселенец собранного мира памяти.

И — слушатель. «Нам удалось собрать оркестр — оркестр покойников», — предлагает Снегирёв по-снегирёвски яркую метафору. И в прологе называет Митю «дирижёром».

Но кто он сам — человек, чьё имя указано на обложке?

Пожалуй, ближе всего к его роли в этой книге, в виду собранного оркестра — положение критика.

Снегирёв — писатель в роли критика.

Тот, кто не просто слушает — а слышит: как это звучит, как воспринимается?

И именно для того, чтобы лучше расслышать, он и устраняется.

Минимизирует личное звучание. Наступает на писательское эго. Не показывает себя за дирижёрским пультом. Скрывается от сцены и чутко обзорекает не только звучащий оркестр — но и внимающий зал.

Интерес к истории, её сюжетным поворотам и человеческим судьбам в книге очевиден.

Не сразу замечаешь другой принципиальный интерес: к слову.

Недаром Елена Погорелая — критик, пишущий о поэзии, и сама поэт — высоко оценила «блестящий метаприем — и блестящий верлибр»: из выбранных строк чужих писем Александр Снегирёв составляет текст «в столбик» — текст с особенными, поэтическими акцентами и связью между словами.

К этому приему он прибегает в книге не раз. Но у меня впечатление, что не только задокументированные в письмах словесные обороты — а и самые факты прошлого он читает поэтически.

Это грозная красота общей жизни, соединяющая людей через границы личности и семьи. «Такое родство, когда интимное и планетарное выплавляются в стройную фигуру, сиюминутное оказывается вечным, горе и страдания преобразуются в оттенки гармонии непостижимого бытия, а бесконечная чернота Вселенной больше не кажется негостеприимной», — заключает Александр Снегирёв книгу не своих воспоминаний — своими словами.

Чтобы передать это родство, писатель может занять место бога. Попытаться разместить многообразие жизни на ладони романа. Стать больше себя.

А может стать себя меньше. Занять по отношению к жизни позицию внимающего. Поместить себя внутрь многообразия и помочь нам его разглядеть и расслышать.

«Жизнь — это литература», — пишет Снегирёв в послесловии. Но литературу из чужих воспоминаний делать отказывается: «никаких дополнений или исправлений, искажающих оригинальный текст, не внесено».

Не искази — заповедь писателя, который помогает нам разглядеть и расслышать красоту и смысл доподлинно прожитой жизни.